

Койка №29 / рассказ

Category: Heкаýalar, Kitарсу

написано kitарсу | 23 января, 2025

Койка №29 / рассказ КОЙКА № 29

Когда капитан Эпиван проходил по улице, все женщины оборачивались. Это был действительно красавец-гусар. И поэтому он постоянно рисовался, выступал спесиво, всецело занятый собой, гордый своими ляжками, талией, усами. Впрочем, усы, талия и ляжки были у него поистине восхитительные. Усы – белокурые, очень густые, в виде воинственного жгута цвета спелой ржи, но жгута тонкого, тщательно закрученного и спускавшегося двумя мощными, дерзкими побегами. Талия у него была тонкая, словно он носил корсет, а грудь – широкая, могучая, выпуклая, как и подобает статному самцу. Ляжки его были великолепны: настоящие ляжки гимнаста или танцора; малейшие движения мускулов вырисовывались под облегающим их красным сукном рейтуз.

Он шагал, пружиня икры, раздвигал ноги и руки, чуть раскачиваясь, щеголяя кавалерийской походкой, которая так выгодно выделяет ноги и торс и кажется победоносной при мундире, но вульгарной при сюртуке.

Подобно многим офицерам, капитан Эпиван не умел носить штатское платье. Как только он одевался в серое или черное сукно, он казался просто приказчиком. Зато в мундире был неотразим. К тому же у него было красивое лицо, тонкий нос с горбинкой, голубые глаза, узкий лоб. Правда, он был плешив и никак не мог понять, отчего у него лезут волосы. Однако он утешался сознанием, что большие усы не так уж плохо идут к слегка оголенной голове.

Он презирал решительно всех, но в его презрении было множество оттенков.

Так, обыватели для него вовсе не существовали. Он смотрел на них, как на животных, уделяя им внимания не более, чем курам или воробьям. Одни только офицеры представляли для него интерес в мире; но не все офицеры пользовались у него

одинаковым почетом. В общем, он уважал среди них только красавцев, так как единственное подлинное достоинство военного усматривал в хорошей осанке. Солдат, черт побери, должен быть молодцом, рослым молодцом, созданным для войны и любви, человеком властным, мужественным и сильным, – вот и все. Он классифицировал генералов французской армии, исходя из их роста, выправки и суровости лица. Бурбаки казался ему величайшим военачальником нового времени.

Он потешался над пехотными офицерами, толстыми коротышками, задыхающимися при ходьбе; но особенное, непреодолимое презрение, граничившее с отвращением, он чувствовал к заморышам, окончившим Политехническую школу, к этим плюгавым, тщедушным человечкам в очках, неловким и неуклюжим, которым, по его словам, так же пристало носить мундир, как кролику служить обедню. Он возмущался, что в армии терпят этих тонконогих недоносков, которые ползают, как крабы, не пьют, мало едят и, кажется, предпочитают уравнивания красивым девушкам.

Капитан Эпиван пользовался у женщин неизменным успехом, постоянно одерживал победы.

Когда он ужинал в обществе женщины, то всегда был уверен, что завершит с нею ночь наедине, на общем ложе, а если непреодолимые препятствия не давали ему возможности одержать победу в тот же вечер, он не сомневался, что «продолжение последует» на другой день. Товарищи избегали знакомить его со своими любовницами, а торговцы, у которых за прилавком стояли красивые жены, хорошо знали его, опасались и яростно ненавидели.

Когда он проходил, лавочница невольно обменивалась с ним через витрину взглядом, да таким, который говорил больше, чем самые нежные слова: в нем выражался и призыв, и ответ, и влечение, и признание. А муж, предупрежденный неким инстинктом, резко оборачивался и бросал бешеный взгляд на горделивый и стройный силуэт офицера. Когда же капитан, улыбающийся и довольный произведенным впечатлением, удалялся, торговец, с раздражением перебирая расставленный на прилавке товар, негодовал:

– Вот индюк! Когда же перестанут кормить этих дармоедов,

которые только и знают, что бренчат своими жестянками по тротуарам? По мне уж лучше мясник, чем солдат. Если у мясника фартук запачкан кровью, так по крайней мере кровью скотины; мясник хоть пользу приносит; нож, который у него подвешен к поясу, не для того предназначен, чтобы убивать людей. Не понимаю, как только позволяют этим душегубам таскать повсюду свое смертоносное оружие! Без них не обойтись – знаю; но уж хоть бы прятали их, а не одевали, как на маскарад, в красные штаны да синие куртки. Не наряжают же палача генералом!

Жена, не отвечая, незаметно пожимала плечами, а муж хоть и не видел, но угадывал это и восклицал:

– Только дура может любоваться, как хорохорятся эти типы!

Так или иначе, но молва о капитане Эпиване, великом покорителе сердец, разносилась по всей французской армии.

И вот в 1868 году его полк, 102-й гусарский, перевели в Руан для несения гарнизонной службы.

Вскоре капитан стал известен всему городу. Каждый вечер, часов около пяти, он появлялся на бульваре Буаельдье, направляясь в кафе «Комедия» выпить абсента, но перед тем как войти туда, неизменно прохаживался по бульвару, чтобы покрасоваться своими ногами, талией и усами.

Руанские коммерсанты, которые прогуливались по аллее, заложив руки за спину, озабоченно толкуя о повышении и падении цен, все же бросали на него взгляд и восхищались:

– Черт возьми, вот красавец!

Потом, уже зная, кто это такой, они стали говорить:

– А, вот и капитан Эпиван! Молодчина, что ни говори!

Женщины при встрече с ним как-то странно вертели головой и стыдливо вздрагивали, словно слабея перед ним или чувствуя себя раздетыми. Они слегка склоняли шею, и на губах у них появлялась тень улыбки; им хотелось, чтобы капитан Эпиван нашел их прелестными, хотелось привлечь его взгляд. Когда он прогуливался с товарищем, тот всякий раз завистливо и ревниво думал, видя неизменное повторение этих ужимок:

«И везет же, черт побери, этому Эпивану!»

Среди руанских содержанок из-за него разгорелось настоящее

состязание, борьба. Все они появлялись к пяти часам, к офицерскому часу, на бульваре Буаельдье и, волоча юбки, ходили парами от одного конца бульвара до другого, а лейтенанты, капитаны и майоры, перед тем как зайти в кафе, тоже расхаживали по двое, волоча по тротуару сабли.

И вот, как-то вечером, красавица Ирма, – как говорили, любовница г-на Тамплие-Папона, богатого фабриканта, – остановила свой экипаж возле «Комедии», якобы намереваясь купить бумаги или заказать визитные карточки у гравера Поляра, а на самом деле лишь для того, чтобы пройти мимо столиков, где сидели офицеры, и бросить капитану Эпивану взгляд, столь ясно говоривший: «Когда хотите», что полковник Прюн, который пил со своим адъютантом зеленый абсент, не удержался и проворчал:

– Ах, скотина! И везет же этому молодцу!

Слова полковника были подхвачены, и на другой день капитан Эпиван, польщенный высокой похвалой, прошелся несколько раз подряд в полной форме под окном красавицы.

Она его заметила, выглянула, улыбнулась.

В тот же вечер он стал ее любовником.

Они везде бывали вместе, подчеркивали свои отношения, компрометировали друг друга, и оба гордились таким романом.

В городе только и речи было, что о связи красавицы Ирмы с офицером. Один г-н Тамплие-Папон ничего не знал.

Капитан Эпиван сиял, торжествуя, и поминутно говорил:

– Ирма сказала мне... Ирма говорила мне прошлой ночью... Вчера, когда я обедал с Ирмой...

Больше года носился он со своей связью, щеголял ею по всему Руану, выставлял ее напоказ, словно захваченное у неприятеля знамя. Ему казалось, что благодаря этой победе он вырос, зная, что ему завидуют, он чувствовал большую уверенность в будущем, уверенность в получении креста, столь желанного, ибо все взоры были сосредоточены на нем, а ведь достаточно быть на виду, чтобы тебя не забыли.

Но вот вспыхнула война, и полк капитана одним из первых был отправлен на границу. Прощание было тяжелое. Оно длилось целую ночь.

Сабля, красные рейтузы, кепи, доломан соскользнули со стула на

пол; платье, юбки, шелковые чулки тоже упали и печально валялись на ковре вперемежку с форменной одеждой; в комнате был разгром, словно после сражения; Ирма, непричесанная, в безумном отчаянии обвивала руками шею офицера, обнимала его, потом, выпустив, каталась по полу, опрокидывала стулья, рвала бахрому с кресел, кусала их ножки. А капитан, глубоко растроганный, ничем не мог утешить ее и только твердил:

– Ирма, малютка, крошка моя, ничего не поделаешь, так надо!

И порою смахивал пальцем набежавшую слезу.

Они расстались на рассвете. Она проводила возлюбленного в экипаже до первого привала. А в минуту разлуки обняла его почти на глазах у всего полка. Все нашли даже, что это очень мило, очень уместно, очень прилично, и товарищи, пожимая капитану руку, говорили:

– Ах ты, чертов счастливец! Как-никак, а у малютки доброе сердце.

Они, право, увидели в этом нечто патриотическое.

За время кампании полку пришлось испытать многое. Капитан вел себя геройски и наконец получил крест; затем, когда война кончилась, он вернулся в руанский гарнизон.

Тотчас же по возвращении он стал справляться об Ирме, но никто не мог дать ему точных сведений.

Одни говорили, что она кутила с прусскими штабными офицерами.

По словам других, она уехала к родителям – крестьянам в окрестностях Ивето.

Он даже посылал в мэрию своего денщика справиться в списке умерших. Имени его любовницы там не оказалось.

Он очень горевал и щеголял своим горем. Даже отнес свое несчастье за счет врага, приписывая исчезновение Ирмы пруссакам, занимавшим одно время Руан.

– В следующей войне я с ними, мерзавцами, сосчитаюсь! – заявлял он.

Но вот однажды утром, когда он входил в офицерскую столовую к завтраку, старик-рассыльный в блузе и клеенчатой фуражке подал ему письмо. Он распечатал его и прочел:

«Любимый мой!

Я лежу в больнице; я очень, очень больна. Не придешь ли меня навестить? Я была бы так рада!

Ирма».

Капитан побледнел и в порыве жалости проговорил: – Черт побери, бедная девочка! Пойду сейчас же после завтрака.

И за завтраком он все время рассказывал, что Ирма в больнице, но что он ее оттуда выцарапает, будьте покойны! Это опять-таки вина проклятых пруссаков. Она, вероятно, осталась одна, без единого су, подыхала с голоду, потому что пруссаки, несомненно, разграбили ее обстановку.

– Ах, скоты!

Все взволновались, слушая его.

Всунув сложенную салфетку в деревянное кольцо, капитан поспешно встал, снял с вешалки саблю и, выпятив грудь, чтобы талия стала тоньше, застегнул портупею, потом быстрым шагом отправился в городскую больницу.

Он надеялся беспрепятственно проникнуть в больничное здание, однако его категорически отказались впустить, и ему даже пришлось обратиться к полковому командиру, объяснить положение дела и взять у него записку к главному врачу. Врач, продержав красавца-капитана некоторое время в приемной, выдал ему наконец разрешение, но попрощался с ним сухо и поглядел на него укоризненно.

В этой обители нищеты, страдания и смерти капитану уже с самого порога стало не по себе. Его сопровождал санитар.

Чтобы не шуметь, капитан шел на цыпочках по длинным коридорам, в которых стоял противный запах плесени, болезней и лекарств. Глубокую тишину больницы лишь изредка нарушал чей-то шепот.

Иногда капитан различал в приотворенную дверь палаты длинный ряд кроватей, где под одеялами вырисовывались тела. Выздоровливающие женщины сидели на стульях в ногах своих коек и шили; на них были больничные серые холщовые платья и белые чепцы.

Вдруг проводник остановился возле одной из этих густонаселенных палат. На двери виднелась крупная надпись:

«Сифилис». Капитан вздрогнул и почувствовал, что краснеет. У двери, на маленьком деревянном столике, сиделка приготавливала лекарство.

– Я вас провожу, – сказала она, – это двадцать девятая койка. И она пошла впереди офицера. Потом указала ему на одну из коек:

– Вот!

На кровати виднелось лишь слегка вздымавшееся одеяло. Даже голова была спрятана под простыней.

Со всех сторон над подушками появлялись бледные, удивленные лица, смотревшие на мундир, лица женщин молодых и старых, но казавшихся одинаково уродливыми и грубыми в убогих больничных балахонах.

Капитан совсем смутился и стоял, одной рукою прихватив саблю, а в другой держа кепи; потом прошептал:

– Ирма.

В постели произошло резкое движение, и затем показалось лицо его возлюбленной, но до того изменившееся, до того усталое, до того исхудавшее, что он его не узнавал.

Она залепетала, задыхаясь от волнения:

– Альбер!.. Альбер... Это ты!.. О, как хорошо... как хорошо...

И слезы потекли из ее глаз. Сиделка принесла стул.

– Садитесь, сударь.

Он сел и стал смотреть на жалкое, бледное лицо девушки, которую покинул такой красивой и свежей.

– Что с тобой? – спросил он.

Она ответила, плача:

– Ты ведь видел; на двери написано.

И закрыла глаза краем простыни.

Он растерялся и смущенно спросил:

– Как же ты это подцепила, бедняжка?

Она прошептала:

– Это всё пакостники-пруссаки. Они взяли меня почти силой и заразили.

Он не находил больше, что сказать. Смотрел на нее и вертел на коленях кепи.

Другие больные разглядывали его, а он, казалось, слышал запах

гниения, запах разлагающихся тел и позора, витавший в этой палате, полной проституток, пораженных мерзкой и страшной болезнью.

Она прошептала:

– Я уж, наверно, не выкарабкаюсь. Доктор говорит, что мое положение очень серьезно.

Потом, увидев на груди офицера крест, она воскликнула:

– Ах, ты получил орден, как я рада! Как я рада! Ах, если бы можно было тебя поцеловать!

При мысли об этом поцелуе по телу капитана пробежала дрожь отвращения и ужаса.

Ему захотелось уйти, быть на воздухе, не видеть больше этой женщины. Но он сидел, не решаясь встать и проститься. Он пробормотал:

– Ты, должно быть, не лечилась?

В глазах Ирмы блеснуло пламя:

– Нет, я хотела отомстить за себя, хоть бы мне пришлось и сдохнуть от этого! И я тоже заражала их, всех, всех, сколько было в моих силах. Пока они были в Руане, я не лечилась.

Он сказал смущенным тоном, в котором, однако, проскальзывала шутливая нотка:

– Вот это ты делала правильно.

Она оживилась, покраснелась:

– О да, несомненно, не один умрет благодаря мне! Уверю тебя, я им отомстила!

Он еще раз подтвердил:

– Очень хорошо!

Потом, вставая, сказал:

– Ну, мне пора; к четырем я должен быть у командира полка.

Она заволновалась:

– Уже? Ты уже уходишь? Ведь ты только вошел!.. Но он во что бы то ни стало хотел уйти. Он произнес:

– Ты видишь: я пришел сейчас же, но в четыре мне непременно надо быть у командира.

Она спросила:

– У вас все тот же полковник Прюн?

– Да, все он же. Он был дважды ранен.

Она спросила еще:

– Из товарищей твоих кто-нибудь убит?

– Да. Погибли Сен-Тимон, Саванья, Поли, Сапреваль, Робер, де Курсон, Пазафиль, Санталь, Караван и Пуаврен. У Саэля оторвало руку, а Курвуазену раздробило ногу; Паке потерял правый глаз.

Она слушала с глубоким вниманием. Потом вдруг прошептала:

– Слушай, поцелуй меня на прощанье. Госпожи Ланглуа ведь нет.

И, несмотря на поднявшееся в нем отвращение, он приложился губами к ее бледному лбу, в то время как она, обняв его, покрывала безумными поцелуями синее сукно доломана.

Потом она промолвила:

– Ты придешь еще? Скажи, придешь? Обещай прийти!

– Хорошо, обещаю.

– Когда? В четверг можешь?

– Хорошо, в четверг.

– В четверг, в два часа.

– Хорошо. В четверг, в два часа.

– Обещаешь?

– Обещаю.

– Прощай, дорогой мой!

– Прощай.

И он ушел, сконфуженный обращенными на него взглядами всей палаты, сгорбив свой высокий стан, чтобы казаться поменьше. Выйдя на улицу, он вздохнул с облегчением.

Вечером товарищи спросили:

– Ну что? Как Ирма?

Он смущенно ответил:

– У нее воспаление легких, она очень плоха.

Но один молокосос-лейтенант, почуяв что-то неладное, отправился на разведку, и на другой день, когда капитан вошел в собрание, его встретили взрывом смеха и шуток. Наконец-то можно ему отомстить!

Помимо того, стало известно, что Ирма напропалую кутила с прусскими штабными офицерами, что она разъезжала верхом по всей округе с полковником голубых гусаров, да и со многими другими, и что в Руане ее теперь зовут не иначе, как

«пруссачкой».

Целую неделю капитан был посмешищем полка. Он получал по почте красноречивые рецепты, указания, к каким обратиться докторам, даже лекарства, особое назначение которых было указано на обертке.

А полковник, которого обо всем осведомили, строго заявил:

– Милое, значит, знакомство было у капитана! Поздравляю его!

Недели полторы спустя Ирма опять вызвала его письмом. Он в бешенстве разорвал письмо и ничего не ответил.

Через неделю она написала ему, что совсем плоха и хотела бы проститься с ним.

Он не ответил.

Еще через несколько дней к нему явился больничный священник.

Девица Ирма Паволен при смерти и умоляет его прийти.

Он не посмел отказаться и последовал за священником, но вошел в больницу с чувством ожесточенной злобы, оскорбленного тщеславия, униженной гордости.

Он не нашел в ней никакой перемены и подумал, что она обманула его.

– Что тебе от меня надо? – спросил он.

– Хотела проститься с тобой. Говорят, я долго не протяну.

Он не поверил.

– Послушай, из-за тебя я стал посмешищем всего полка; надо этому положить конец!

Она спросила:

– Что ж я тебе сделала?

Он рассердился, не зная, что возразить.

– Не рассчитывай, что я опять приду сюда: я не желаю, чтобы надо мной потешались!

Она посмотрела на него потухшими глазами, но в них вдруг вспыхнула злоба, и она повторила:

– Что я тебе сделала? Может быть, я была с тобою недостаточно ласкова? Разве я у тебя когда-нибудь чего-нибудь просила? Если бы не ты, я жила бы с господином Тамплие-Папоном и не валялась бы теперь здесь. Знаешь, уж кому-кому упрекать меня в чем, только не тебе.

Он возразил с дрожью в голосе:

– Я и не упрекаю, но я не могу больше тебя навещать, потому что ты опозорила весь город своим поведением с пруссаками.

Она порывисто поднялась и села на постели.

– Своим поведением с пруссаками? Но говорю же тебе, что они завладели мной силою, говорю тебе, что не лечилась я только потому, что хотела заразить их. Если бы я хотела вылечиться, – это труда не составило бы, черт побери! Я решила губить их и наверняка многих сгубила!

Он все стоял.

– Как бы то ни было, это позор, – сказал он.

У нее даже захватило дух, потом она проговорила:

– В чем позор? В том, что я уничтожала их? А теперь из-за этого умираю? Не так ты говорил, когда приходил ко мне на улицу Жанны д'Арк. Ах, так это позор? А вот тебе бы не сделать этого, хоть ты и с орденом! Я заслужила его больше, чем ты; слышишь, больше! И пруссаков я уничтожила больше, чем ты!

Он изумленно смотрел на нее, дрожа от негодования.

– Ах, так? Замолчи... Знаешь... замолчи... Таких вещей... я не позволю... касаться...

Но она не слушала его:

– Подумаешь, много вреда вы причинили пруссакам! Разве могло бы все это случиться, если бы вы их не пустили в Руан, скажи на милость? Это вы должны были не пускать их, слышишь! А я сделала им больше вреда, чем ты, да, больше, чем ты, и вот умираю, а ты разгуливаешь и красуешься, чтобы кружить голову женщинам!..

Со всех коек поднялись головы, все глаза устремились на человека в мундире, который бормотал:

– Замолчи... слушай, замолчи лучше...

Но она не умолкала, Она кричала:

– Да, хорош ты, ломака! Поняла я тебя теперь! Поняла! Говорю тебе, я навредила им больше, чем ты убила их больше, чем весь твой полк... Убирайся... трус!

Он и сам уходил, почти убегал, шагая крупным шагом меж двух рядов коек, где копошились сифилитички. И ему слышался преследующий его хриплый, свистящий голос Ирмы:

– Больше, чем ты, да, больше, чем ты! Я уничтожила их больше...

Он кубарем скатился с лестницы и побежал домой, чтобы никого не видеть.

На другой день он узнал, что она умерла.

* * *

Напечатано в «Жиль Блас» 8 июля 1884 г. под псевдонимом Мофриньёз.

Бурбаки (1816 – 1897) – французский генерал.

Политехническая школа – военная школа в Париже, выпускавшая офицеров артиллерии и инженерных войск.

Ги де Мопассан. Собрание сочинений в 10 тт. Том 5. МП «Аурика», 1994

Перевод Е. Гунст Некаýalar